

Старая разбитая дорога, вся в ухабах и колдобинах, по краю — репейник, лебеда, островки крапивы и разросшийся придорожный кустарник. Долго она петляла между рыже-коричневыми осенними холмами, пока наконец-то в низинке не мелькнули старые, местами провалившиеся крыши небольшой деревеньки. Так всего лишь десятка два-три приземистых избышек были разбросаны там и сям, в подслеповатых тусклых оконцах пятнами вспыхивало вечернее солнце, но проходило несколько минут, и отблеск исчезал. Голосов не слышно. Вот одиноко мукнула корова, следом взлаяла собачонка и умолкла от короткого шепелявого окрика. Поправив лямный рюкзак, Митяй не удержался — ноги ослабли при виде деревушки, присел на взгорке на пожухлую траву, скрутил тошную самкрутку и задымил, всматриваясь в родную деревню. Полдня потратил, чтобы от шоссе добраться до деревни. Хотел сразу проведать родителей на кладбище, но, увидев деревню, сморил, и теперь сидел, поглядывая на неё и чувствовал, как успокаивалась его душа, что наконец-то после стольких лет мытарств он всё же смог вернуться домой.

— Вот оно как, — он содрал потёртую шапку и принялся приглаживать растрёпанные грязные волосы, глядя в вечерние сумерки. — Да уж, — опять повторил Митяй, растирая грудь, и поморщился. — Вот оно как! Была деревня, да сплыла. Раньше-то взглядом не окинешь, жителей не пересчитаешь, а сейчас одно название — деревня, — и отмахнулся от осенней назойливой мухи.

По заросшей улочке, опираясь на клюку, часто останавливаясь, медленно прошёл старик, одетый в драную фуфайку с длинными рукавами, из которой ключьями торчала вата, в засаленных штанах и в больших галошах, шаркал по ухабистой дороге. Он подошёл к палисаднику с прорезами в заборе, откуда торчали ветви бузины да робко белел тоненький стан молодой берёзки. Старик долго стоял, всматриваясь из-под тёмной ладони в сторону пригорка, потом натужно закашлялся и, махнув рукой, присел на низенькую лавочку, нет-нет да опять глядя в тёмную неподвижную фигуру на вершине.

Развязав тугий узел на рюкзаке, Митяй достал баклажку с водой, звучно глотнул, не глядя по-

Михаил СМИРНОВ

*г. Салават,
Башкирия*

ХОЗЯИН

рассказ



шарил внутри, вытащил тощий свёрток, развернул и принялся грызть чёрствую краюшку, хрумкать солёным огурцом, который насильно сунула ему на вокзале сердобольная бабка, когда он стоял и пересчитывал последнюю мелочь, вытряхнув из кармана.

— Да уж, вот оно как, — повторил Митяй, достал свёрнутую газету, оторвал клочок, опять скрутил сигарку — деньги кончились, пришлось собирать окурки, затянулся, аж искры посыпались, два-три раза пыхнул и, обжигаясь, поплевал на огонёк, затушил, а окурочек сунул в карман — пригодится еще. — Ничего, ночку перекантуюсь, проведу мамку с батяней на кладбище, посижу, подумаю, куда дальше двинуть. Здесь, как мне кажется, больше никто меня не ждёт, никому не нужен. Да уж... — протяжно вздохнул он, нахлобучил шапку и поднялся.

Спотыкаясь и чертыхаясь, Митяй напрямки добрался до крайнего дома, вросшего чуть ли не по оконца в землю. Прислонился к забору, вглядываясь в тёмные окна. Сдвинув шапку, почесал затылок и немного потоптался возле калитки, подпёртой штакетиной. Хотел зайти во двор, но, заметив висячий замок на двери, понял, что дом бесхозный — двор зарос бурьяном, махнул рукой и, протяжно вздохнув, направился к старику.

— Здорово, батя, — стасив шапку с головы, сипловато сказал Митяй. — Мне бы ночку перекантоваться. Пустишь с ночевьём или к другим пойти? — и взъерошил и без того растрёпанные лохмы.

— Добрые люди по ночам не шляются, — прищурившись и взглянув на вечернее солнце, буркнул старик, опираясь на клюку. — Откель знаю, может, ты беглый каторжник. Я давно заприметил, как ты сидишь и высматриваешь. Наверное, решил чё-нить стибрить, а может, и того хуже. Вон наемдни участковый приезжал, говорил, будто бы из тюрьмы убивец сбежал, даже карточку показывал. Вроде на тебя смахивает по обличью, — он подозрительно взглянул исподлобья и ткнул скрюченным пальцем. — Точно, убивец! Надо сообщить куда следует.

— Что болтаешь, старый? — отшатнулся Митяй и невольно оглянулся по сторонам. — Тоже мне, нашёл каторжника! Вот уж не думал, что в родной деревне так встретят. Вот оно как, однако, — он вздохнул, опять напялил шапку и шагнул по

тропке. — Ладно, дед, будь здоров, не кашляй! Вот уж сказанул — убивец...

— Ну-ка погодь, — прошамкал старик, внимательно всматриваясь в Митяя. — Ишь, сразу побежал, торопыга! Не зыркай глазищами-то, не зыркай. Нечего губы гнуть. Развелось лихоимцев — страсть! Говоришь, родная деревня? Не припомню тебя. Уж я-то всех знаю. Чать, обманываешь! — он закашлялся, забулькал и сплюнул. — Ух, уродился горлодёр! — и опять затянулся.

Митяй покрутил башкой, осматриваясь, потом неуверенно махнул рукой.

— Там, — он кивнул и повторил. — Точно, там была наша изба, вон где большое дерево с обломанной верхушкой виднеется, а рядом клуб был раньше. С нами дедка жил. Он после войны вернулся без ног, по деревне ездил на тележке. Может, помните его...

— Погодь, погодь, — перебил старик и опять стал всматриваться. — Про дедку Лёньку говоришь, да? Знавал такого, знавал. Шebutным был. Хе-х, бывало, напётся и начинает кулаками махать, потом шмякнется, а мы тащим его, словно куль какой. Свалим возле печки, сын ругается, а он валяется на полу и песни горланит. Как же, помню его, помню, а вот тебя запаматовал, парень, — и, похлопав по скамейке, добавил. — Ну ладно, присаживайся, худосочный. В ногах правды нет. Посидим, побалакаем.

Скинув рюкзак, Митяй присел, прислонившись к шаткому забору. Достал из кармана жестянку с пригоршней окурков, два-три вытрусил на клочок бумажки, свернул сигарку, закурил и натужно закашлялся.

Старик поморщился и закряхтел, наблюдая за Митяем, за разнокалиберными окурками, что лежали в баночке, покачал головой, вытащил кисет и протянул.

— Э-хе-хе, на-кась моего самосаду закури, — вздохнув, предложил он, толкая Митяя. — До слёз пробирает табачок. Крепкий, однако. Да не торопись, не рассыпай. Глянь, аж затрясся. Никто не отымет, — и, немного подождав, сказал: — Ну, как мой горлодёр? Продрало до порток? Хе-х! — мелко засмеялся, но опять взглянул изпод насупленных бровей. — А что махорку-то куришь? Денег нет на папироски-то, а? Что говоришь? А, понял! Бывает... Жизнь — штука такая... Один как сыр в масле катается, а другой с

хлеба на воду перебивается, — а потом сказал: — Знаешь, ей-богу, смотрю на тебя, смотрю, но не могу вспомнить. Извиняй!

Глотнув воды, Митяй сдвинул шапку и ткнул в лоб, где виднелся корявый шрам.

— А метку узнаёшь, дед Евсей? — и опять ткнул. — Твоя работа, вот оно как, однако. С мальчишками полезли в сад, а ты выскочил из сторожки и так саданул камнем, что я брыкнулся с забора с пробитой башкой. Сам же меня тащил домой. Перепугался, что концы отдал. Это же я был, Митяй. Ну, вспомнил?

— Погодь-погодь... Митька? Это который хулиган, да? Не может быть, не брешь, — старик усмехнулся и небрежно отмахнулся, потом опять всмотрелся и торопливо перекрестился, медленно отодвигаясь. — Сгинь, нечистая! Сгинь! — и замахап руками. — Чур меня, чур!

Удивлённо взглянув на деда Евсея, Митяй пожал плечами, не понимая, почему переполошился старик, потом громко высморкался, обтёр пальцы об пук высохшей травы и опять закурил дедовский самосад, кашляя от едучего дыма. Несколько раз пыхнул сизым дымом, поплевал на ладонь, затушил и спрятал окуроч в свою баночку — пригодится.

— Ты чего, старый? — тягуче сплюнув на землю, сказал Митяй. — Я же не икона. Что ты крестишься-то?

Старик медленно отмахнулся, повёл рукой перед собой, словно Митяй исчезнет, а потом принялся креститься.

— Сгинь, нечистая, — поперхнувшись, зачастил он. — Уйди, не тронь меня!

Приглаживая взъерошенные грязные волосы, Митяй посмотрел на испуганного старика. Усмехнувшись, опять пожал плечами, снова взял с лавочки кисет старика, скрутил толстенную сигарку и, наморщив лоб, закурил, продолжая искоса поглядывать на старика.

— Ты же там лежишь, — отодвинувшись от Митяя на край скамейки, сказал старик и неопределённо помахал рукой. — Два года прошло, как похоронили, как закопали тебя...

— Где — там? — удивлённо спросил Митяй, потом посмотрел в сторону кладбища, куда показал дед, и громко, протяжно икнул. — Меня закопали? А зачем? — он потряс головой и стал растирать лицо грязными руками. — Брешешь, старый!

— Вот те крест, не обманываю! — старик размашисто перекрестился. — Ты же утонул, — сказал он и стал подниматься. — Когда привезли тебя, даже домовину не открывали, закопали рядом с мамкой и батяней — и всё. Прямо там мужики помянули и разошлись по домам. Я сам видел, как тебя закапывали. Вот те крест! — повторил дед Евсей. — А сейчас сидишь живой, мой самосад таскаешь без спросу, да ещё вон какие здоровенные сигарки крутишь — с палец, не меньше, — и, схватив кисет, торопливо сунул в карман.

— Вот оно как, однако, — покачивая головой, протянул Митяй, громко швыркнул носом и смачно сплюнул. — Дедка, сам подумай, как же меня могли похоронить, если я только сегодня приехал на станцию и полдня добирался до деревни. А ты говоришь, будто два года прошло. А я почти месяц через всю страну ехал на перекладных, чтобы сюда попасть. У меня свидетели есть, и много. Правда!

Прищурившись, дед опять посмотрел на Митяя, осторожно дотронулся до шрама, задумался, вскинув густые метёлки бровей, что-то долго бормотал, поглядывал в сторону кладбища, грозил пальцем и почёсывал рёдепый венчик волос на голове.

— Ей-богу, не обманываю, — пожимая плечами, закричал он. — Привезли, сказали, что это ты, даже документ показывали с печатями. Наши мужики подрядились яму копать. Ну и, как положено, в последний путь проводить. А к вечеру, когда все напоминались, приезжие оставили бумагу в сельсовете и сами укатили. Что же получается — это, значит, чужака закопали? А кого? Ох ты, что делается-то, — он взглянул и ожесточённо стал тереть волосы. — Какие времена настали-то! Чую, надо у бабки спросить. Она знает всё. Ну-ка, утопленник, пошли, поговорим с ней, — и старик поднялся.

Размахивая длинными рукавами старой фуфайки, дед Евсей, цепляя репейник на штаны, торопливо просеменил по узкой тропинке, распахнул скрипучую калитку, запыхавшись, поднялся по ступеням, сбросил галоши на крыльце, прислонив клюку к стенке, махнул рукой и скрылся, хлопнув дверью.

Поправив тощий рюкзачок, Митяй двинулся вслед за ним, поглядывая по сторонам. В вечерних сумерках темнел сарай, взбреднула

собака, почуяв чужака, и умолкла от сердитого окрика. Тонко пахло клевером — рядом с сараем горбатилась копёнка сена. Споткнувшись, Митяй чертыхнулся и крепко ухватился за шаткое перильце. Осторожно поднялся по ступеням, на ощупь нашёл дверь, шагнул в тень и треснулся лбом, аж искры посыпались из глаз, витиевато ругнулся и приостановился на маленькой веранде. Шумно вздохнул, провёл рукой по стене, где парами висели берёзовые веники, пучки мяты, связки душицы, ещё какие-то травы, а вот под рукой зашуршала связка лука — это были знакомые запахи и звуки, какие его окружали в детстве и каких ему так не хватало в жизни, в его бродячей жизни. Митяй растёр лицо ладонями, протяжно вздохнул, потоптался, сбросил разбитые кирзовые сапоги, затёртую куртку и, оставшись в свитере с отвисшим воротом, держа шапку в руках, распахнул дверь, наклоняясь, медленно вошёл в избу.

— Ниже кланяйся, ниже, — держа в руках кочергу, проворчала маленькая старушонка. — Кланяйся дому, когда заходишь, и, когда выходишь, тоже поклонись за тепло, за кров, что он дал тебе...

— Куда ещё ниже-то? — не удержавшись, недовольно буркнул Митяй, потирая шишку на лбу. — Чуть без башки не остался. Ещё скажи, чтобы на карачках заползал. Вот оно как, однако.

— Надобно будет — заползёшь, — повысила голос старуха и погрозила пальцем-крючком. — Цыц, прохожий, ежели не нравится, вот тебе бог, а вот порог, — и ткнула в сторону двери. — Не держим...

— Ладно, бабка, не ворчи, — махнул рукой дедка Евсей и ткнул пальцем. — Это же Митька, наш утопленник, пожаловал, — и громко щёлкнул по горлу. — Ну-ка, старая, доставай родимую, тяпнем по рюмашке за воскресшего...

— Совсем ополоумел, — замахнулась на него бабка. — Какой такой утопленник? Ну-ка дыхни! Я вижу, успел приложиться, да? Ну, тогда совсем из ума выжил, старый. Незнамо кого на ночь глядя привёл. Вот сейчас кочерёжкой-то прогуляюсь вдоль хребтины, — и она погрозила кочергой.

Кхекая, хлопая ладонями по засаленным коленям, старик закатился мелким смешком, по-

том нахмурился, взглянул исподлобья, погрозил заскорузлым пальцем и цыкнул. Пригладив реденькие волосёнки, с грохотом придвинул табуретку к столу, достал кисет с самоса-дом, старенькую газету и опять ткнул пальцем.

— Бабка, ты взгляни, кого я привёл, — это же Митька, сын Дадонихи, который утоп, — прищурившись, он посмотрел на Митяя. — Крестник, кого камнем перекрестил. А вот сейчас его встретил на улице и в гости позвал. Он сегодня переночует у нас, а завтрава пушай отправляется на кладбище к своим, к мамке с батей. А ежели не веришь, Симка, поглянь на его лоб — это моя метка красуется. Ты же лечила его.

Запнувшись, старуха поджала тонкие морщинистые губы и мотнула головой. Приложив ладонь лодочкой, долго всматривалась при тусклом свете засиженной лампочки в Митяя. Потом ошарашенно оглянулась в сторону дедки, который дымил, невозмутимо выпуская клубы ядовито-вонючего дыма. Посмотрела на дверь, что была за спиной Митяя, и, поняв, что не сможет вырваться и позвать на помощь, утробно ойкнула, прижалась к печи и стала быстро креститься.

— Свят, свят, свят, — бормотала она и косилась на Митяя. — Сгинь, нечистая! Иди откуда пришёл, иди, — и махнула на дверь.

— Вот и я всех святых вспомнил, когда узнал, кто сидел передо мной, — сказал дед Евсей и стряхнул пепел в гераньку, стоявшую на подоконнике. — Ещё чуток — и с полными штанами бы умчался. Ох, страха!

Прислонив рюкзачок к обшарпанной стенке, Митяй шагнул под тусклую лампочку, засиженную мухами, приподнял грязные космы — и бабка увидела на лбу большой уродливый шрам.

— Здравсьте, баб Сима, — бормотнул Митяй и неуклюже затоптался, осматриваясь по сторонам. — Наконец-то приехал, добрался до деревни, а туточки говорят, будто меня похоронили. А я-то живёхонек! Вот, потрогай меня. Вот оно как, однако, — и протянул руку к старухе. — Живой, правда?

Поправив платок, баба Сима прищурилась, взглянула блеклыми глазами, о чём-то задумалась, поджав тонкие морщинистые губы, быстро накапала вонючих капель в стакашек, поморщившись, выпила, опять перекрестила гостя,

немного подождала, но Митяй не исчезал, а стоял на одном месте и переминался с ноги на ногу, словно лошадь спутанная. Покачав головой, удивлённо прошамкала:

— Неужто взаправду сын Верки Дадонихи объявился, — с опаской ткнула пальцем в тощую грудь нескладного Митяя, взялась за протянутую руку, подержала, потом заторопилась. — А ведь взаправду живой, чертяка, тёплый! И не утопленник. Это сколько годов тебя не было, Митька? Ты же мальцом был, когда сельмаг обчистил, в тюрьму упрятали тебя, и больше в деревне не появлялся. А потом в домовине привезли — утоп по пьянке. Где ж ты был до нынешнего дня? Наверное, по тюрьмам шлялся, да? — с подозрением посмотрела на него, потом взглянула на деда Евсея и сказала: — Ох, Евсейка, а кого же на погост отнесли, ежели это не Митька утонул, а? — покачивая головой, она всплеснула руками.

— Поэтому привёл Митьку, чтобы ты рассказала, кого закопали, — шлёпнув ладонью по столу, сказал дед Евсей. — Ты же всё знаешь, вы же с бабками сидите вечерами на лавке, только и делаете, что лясы точите.

— А я почём знаю, — всплеснула руками старуха. — Бумажкой помахали, будто Митьку привезли, в сельсовет отдали, а сейчас спросить не у кого, колхоз-то развалился, всё, что было хорошего, растащили, а работы не стало, люди поразьехались. Вот и осталось одно старичье... — и тяжело вздохнула.

— Всё, бабка, хватит слёзы выжимать, взгляни на ходики, — старик прихлопнул ладонью по столу. — Давай доставай чугунок и корми гостя, а не разговоры говори. Давно уж вечерять пора, а ты стоишь с кочергой, аки солдат с винтовкой. Корми, хватит языком молоть. Митька, вон утирка, — он кивнул. — Умойся с дороги. Повечеряем чем бог послал, а потом побалакаем.

Поджав губы, старуха, изредка взглядывая на деда и Митяя, что-то бормотала, удивлённо покачивала головой, потом достала каравай чёрствого хлеба, отхватила несколько кусков, положила на середину стола, где стояла солонка с крупной солью — хлеб всему голова. Ухватив скрюченными пальцами большой желтоватый огурец из мутного рассола, крупно порезала на кругляши, рядом высилась горка вчерашней картохи в мундирах и четвертинками лук, при-

открыла чугунок — сразу пахнуло щами с кислой капустой, и у Митяя уркнуло в животе от голода, потом громыхнула расшатанной табуреткой, протёрла старой тряпицей.

— Садись, топленник, — и ткнула пальцем, — повечеряем.

— Не откажусь, баб Сима, соскучился по супчику, — заторопился Митяй, быстро присел на краешек табуретки и звучно сглотнул, аж кадык ходуном заходил. — Эх, вкусно пахнет, словно мамка сготовила.

— Ты хлебай щи-то, хлебай, а то простынут, — катая во рту кругляш огурца, пробубнил дед Евсей. — Слышь, бабка, достань шкалик, налей по рюмашке. Приезд отметим...

— Ишь, разохотился, — перебивая, прошепелявила старуха, вытащила из тарелки маленький кусочек мяса, оглядела его со всех сторон и, причмокивая, стала жевать беззубыми дёснами. — Вон суп хлебайте, картошечку берите, капустку достала...

Митяй, не слушая ворчание, торопливо откусывал хлеб, быстро зачерпывал щербатой деревянной ложкой жиденькие щи, где плавали ломотья капусты, мелькали кругляки моркови, крупно нарезанная картошка, темнел венчик укропа да изредка попадались кусочки мяса. Он, обжигаясь, пережёвывал, чистил картошку в мундирах, хрустел солёным огурцом, луком и опять работал ложкой. С сожалением взглянул в опустевшую тарелку, облизал ложку, положил на стол и потянулся к блюдцу, на котором лежало несколько карамелек. Отдуваясь, вытирая вспотевший лоб, подряд выпил три стакана горячего чая с листьями малины и смородины, весь употел, а на кончике крючковатого носа повисла крупная капля. Утёрся тряпкой, что лежала на столе, взглянул на тарелки с остатками картошки и вздохнул. Давно не видел такого богатства. Заметив, что дед закурил, Митяй тоже вытащил жестяную коробочку, осторожно открыл, стараясь не просыпать табак, скрутил тонкую сигарку, прикурил, посматривая в запylённое окно, где чернел сломанный забор палисадника, и задумался, выпуская сизый дым в сторону, вздрогнул, услышав резкий скрип двери.

— Вечеряете, да? — раздался торопливый скрипучий голос, и на пороге появилась сгорбленная старушонка, одетая в длинную юбку, в

шерстяных носках и в галошах, рукава фуфайки свисали на клюку. Приложив ладошку, она принялась рассматривать Митяя. — Хлеб да соль. Я что зашла-то... Серафима, ты будешь свою картоху продавать? Говорят, в соседнюю деревню приезжали, полную машину загрузили, хозяев обманули и умотали, а теперь участковый разыскивает. Как же, найдёт... Ищи ветер в поле! А правда, что гости к вам пожаловали? Это кто сидит за столом, что-то не признаю. Родня аль просто прохожий? — и затопталась, норовя снять галоши и подойти поближе.

— Ем, да свой. Эть Фенька-балаболка пожаловала, — сразу нахмурилась и заворчала баба Сима, заметив гостью. — Ишь, любопытная нашлась, всё надо знать. Крестник приехал, крестник, — и замахала руками. — Иди отсюда, не мешай людям разговаривать. Тебя никто не звал, — стала выпроваживать незваную гостью.

— Крестник, говоришь, — шагнув на веранду, проскрипела старушонка. — Что-то не припоминаю такого... А откуда приехал? Да ухожу я, ухожу. Ладно, к Маруське наведаюсь, пока рядышком, про картоху расскажу, — прошепелявила и захлопнула дверь.

— Вот так всегда, — попыхивая самокруткой, сказал дед Евсей. — Словно сорока на хвосте приносит. Не успеет кто-нить приехать — она тут как тут. Сама живёт на другом конце деревни, бабы не успевают печи растопить, а она уже начинает по избам ходить, все сплетни собирать да пересказывать, так до ночи мотается. Её в дверь — она в окно...

— Всё, по вечерали, а теперь рассказывай, Митька, — перебив старика, утирая впальый рот застиранной тряпицей, сказала баба Сима, — где шлялся, где мотался столько лет, почему другого привезли в домовине, а не тебя... В общем, всё без утайки говори, как на духу, — поправила платок, освободив одно ухо, чтобы получше слышать, ладошкой снова вытерла ввалившиеся морщинистые губы и взглянула на гостя.

Нахмурившись, Митяй посмотрел исподлобья на старуху, взглянул на стол, поискал, куда бы бросить окурок, и ткнул в блюдце.

— Это не у меня нужно спрашивать, почему другого привезли, — он пожал плечами, растёр ладонями лицо и шумно выдохнул. — Вон дедка Евсей ошарашил меня, до сих пор сижу и не

верю, что меня закопали. Наверное, буду жить вечно, как в сказках, как Кошей Бессмертный. Ещё бы жизнь сказочной сделать, а пока... — он махнул рукой. — Так, существую... Когда срок отмотал, не стал возвращаться в деревню, сами знаете, что проходу не дали бы после отсидки. Всех собак бы на меня повесили. Поэтому подался подальше от дома. И золотишко добывал, и уголёк рубил, и лес валил, и деньгами сорил, и голодал, и под кустами ночевал. Всё было, всё испытал. Когда надоедало в городе жить, снова уезжал на сезонную работу, и опять жизнь шла по замкнутому кругу, всё через пень колодой, потому что жил одним днём, не имея ничего за душой. Пока деньгами сорил, были друзья, а прогуливал — все исчезали. Умирать будешь — никто не подойдёт, никто кружку воды не подаст. Убедился! Полгода провалялся в больнице, когда под машину попал, а навестить некому. Смотрел на других в палате и завидовал, что к ним с утра и до вечера друзья и знакомые приходили, а у меня... Сдохнешь, и некому похоронить. Вот и задумался. А задумался и понял, что лучше в деревню вернуться, где мать с батей на погосте лежат, а главное, где дом родной был. Чувал, если не вернусь, значит, пропаду в гнилом болоте. Украли документы, а восстановить не получилось. Ни работы, ни жилья. Скитался по подъездам, по чердакам, где получалось, подрабатывал, если не тяжело, — кости болели, или бутылки собирал. В общем, с хлеба на воду перебивался. А чуточку оклемался после больницы, плюнул на всё и на попутках рванул в деревню. Ужас, сколько пришлось проехать! — Митяй рассказывал неторопливо, подолгу задумывался, хмурил и без того морщинистый лоб, подёргивал себя за грязные космы, взглядывал в оконце и опять говорил и говорил.

Баба Сима поднялась и захлопотала по хозяйству: убирала со стола, протёрла его, а потом загремела посудой, споласкивая в большом тазе, а сама кивала головой и прислушивалась, о чём Митяй рассказывал.

Попыхивая самокруткой, дед Евсей тоже слушал, булькая, надолго заходил в кашле. Плевал в помойное ведро и снова садился за стол и крутил очередную сигарку.

— Вернулся, — громыхнув посудой, сказала

старуха, — а ты же видишь, что от деревни осталось. Как жить-то собираешься, Митька? Опять в город пойдешь?

— Пока не знаю, — пожав плечами, запнулся Митяй и посмотрел в окошко. — Обрадовался, когда увидел деревню, аж внутри полыхнуло. А потом сердце словно в кулак сжало, когда заметил, сколько домов осталось. А была-то какая... Вот и сидел на бугре, и такая обида на душе — страсть! Дурак, что раньше не вернулся. Может, всё было бы по-другому, а не так, что приехал к разбитому корыту. Но ничего, завтра посмотрю, что с нашей избой стало, можно подлатать или нет, а там уж буду решать, как дальше жить.

— А что с избой стало? — опять потянулся за креслом дед Евсей и покосился на Митяя. — Нынче мимо проходил. Давно дышит на ладан, хотя собачья присматриваем за домами. Чужаки повадились лазить. Так и охраняем домишки. Уносят на погост стариков — и изба умирает. Два-три года не протопишь, не поухаживаешь, она начинает хиреть. Дом — он живой. Оставишь одного — и всё, считай, пропал. Правильно, Митька, что приехал! Если не забоишься трудностей, не бежишь, тогда поможем всем миром избушку подправить, харчами поделимся, вон какая знатная картоха уродилась, а там уж и своё появится.

— Что болтаешь, непутёвый, — больной дом? — намахнулась на него бабка Серафима. — То же мне — нашёл живую избу... Хе-х, насмешил, — и она тоненько закатилась. — Ещё ноги приделай... Хе-х!

Старик посуровел. Взглянул исподлобья на бабку и погрозил.

— Дома как люди — у каждого свой срок, — взъерепенился дед Евсей. — Что человек в землю уходит — что изба туда же следом. Вот и скажи, что неживая. А дом, бабка, живой, так и знай, — ершисто повторил дед Евсей и с гонором взглянул на старуху. — Это природа!

— Глянь, какой учёный выискался — страсть! — поджав губы, всплеснула руками старуха. — Лучше бы забор подлатал, чем языком понапрасну трепать, — и повернулась. — А ты, Митька, не смотри на него, не слушай. Мелет Емеля...

— Знаешь, баб Сима, я, пожалуй, схожу, посмотрю на избу, пока не стемнело, — взглянув в оконце, поднимаясь, сказал Митяй и направился к выходу, нахлобучил потрепанную шап-

ку и опять повторил: — На избу посмотрю, на крыльечке посижу. Она же ночами снилась. И батя с мамкой снились. Завтра проведу их, а потом буду разбираться, кого вместо меня похоронили. Негоже, что незнакомый человек здесь покоится. У него, может быть, тоже была семья. Наверное, до сей поры ищут, дома ждут, — и тяжело вздохнул.

— Скоро тёмно будет, Митька, — ткнув в оконце, прошамкала старуха. — Ничего бы не случилось. Завтра бы сходил.

— Нет, баб Сима, схожу, — наклоняясь пониже, чтобы не удариться лбом, сказал Митяй. — Иначе до утра не выдержу, ночью сбегу, лишь бы душу успокоить. Немного посижу и вернусь к вам с ночевьём, если пустите.

— Конечно, приходи, не на улице же тебя оставлять, — махнула рукой бабка Серафима. — Вон на диване перекантуешься ночку. Я одеяльце положу да подушку. Не замёрзнешь.

На ощупь найдя шеколду, Митяй открыл дверь и вышел на крыльцо. Держась за шаткие перильца, спустился по скрипучим ступеням, постоял, прислушиваясь, потом вышел за калитку, опять остановился и завертел башкой, стараясь определить, как срезать дорогу, чтобы быстрее добраться до родной избы. Потом подобрал палку, то ли защищаться от собак, хотя, как он слышал, всего одна гавкала, то ли тропку нащупывать в вечерних сумерках, и направился вдоль заборов с большими прорехами, а местами — поваленным, они вызывали чувство заброшенности. Бурьян заполонил округу. Чертыхаясь, Митяй отдирали колючки, отбрасывал, но тут же новые опять цеплялись за штаны, куртку, когда он наклонялся. Где-то ошалело заорал петух, захлопал крыльями, видать, заспал бедняга — вечер с утром спутал.

В сумерках мелькнуло корявое дерево. Там, рядом с ним, была родная изба. Митяй часто вспоминал, как с мальчишками лазили на это дерево. Лазили, а потом выходила мать и начинала ругаться, а если штаны или рубаху порвал, тогда батя брал ремень, и Митяй кричал до визга, до слёз, пока дед не забирал его от батьки. Ох, крутой характер был у отца, крутой! Митяй вздохнул, вспоминая. А мать, наоборот, тихая была, спокойная. Жалела его, всегда заступалась, — он отстранялся, когда она проводила сухой мозо-

листой рукой по вихрастой голове. Сейчас рад бы подставить голову, да некому.

Прислонившись к дереву, Митяй долго рассматривал старый дом с подслеповатыми оконцами, с полуоткрытыми дверьми, которые тихо скрипели на ветру; смотрел на покосившийся сарай: одну стену подпёрли толстыми слегами, чтобы не рухнул, местами крыша провалилась, обнажая стропила. Вдоль поваленного забора заметны остатки поленницы — кусками валялся старый рубероид да лежали погнившие поленца. А там, чуть ниже, в конце огорода, возле разросшихся кустов, на берегу узенькой речушки была баня. Вон ещё нижние венцы выглядывают из травы. Небольшая, она топилась по-чёрному, куда с отцом ходили париться, а батя наподдаст жару, аж уши вянут, как начнёт хлестать берёзовым веником, не захочешь — будешь кричать, а он держит на полке, и только веник вжикает. Потом полуживого стащит на пол. Окатит холодной водой из тазика и вытолкнет в предбанник, чтобы охладился, а сам хохочет... Митька глубоко вдохнул. Во рту почудился привкус веника и, как показалось, пахло дымком. Невольно оглянулся, надеясь увидеть, что топится баня, но в деревне стояла тишина, нарушаемая лишь порывами ветра в проводах, где-то хлопала створка окна, опять мукнула корова и всё.

Взъерошив спутанные волосы, Митяй нахлобучил шапку, протяжно вздохнул, зашёл во двор, осторожно поднялся по ступеням — некоторые провалились, приходилось перешагивать через них, постоял перед дверью и шагнул через порог. Запах мышей, густой затхлый воздух, видно было, что никто сюда не заглядывает — не принято в пустые дома заходить. Вымыли полы, когда мамку отнесли на погост, прикрыли дверь, и остался дом в одиночестве. Одно старичье в деревне. Ладно, подходят, поглядывают на избу — залезли или нет, да чужаков прогоняют, а то бы давно всё порастащили.

Нашупав щеколду, Митяй с усилием открыл дверь, разбухшую от сырости, и медленно зашёл в избу. Где-то здесь был выключатель. Пошарил по стене, щёлкнул, но свет не загорелся. Лампочку выкрутили. Что добру пропадать-то! Постоял немного, чтобы глаза привыкли к темноте. Держась за стену, громыхнул руко-

мойником, зацепился за старую раковину, пошёл к столу возле окна, удивился, что табуретка сохранилась, присел на краешек и чертыхнулся, едва не упав с неё. Прислонился к обшарпанной стенке, всматриваясь в сумерки. Казалось, ничего в доме не изменилось. Тот же шкафчик, что батя сделал, на полу — несколько разнокалиберных чугунков, ухват с обожжённым черенком, даже занавеска на окне сохранилась, а на подоконнике горшок с геранью и в пыли валяется вилка с отломанным зубчиком. Казалось бы, всё осталось на местах в кухоньке, но именно здесь особенно остро чувствуется запустение, заброшенность жилища. Под щелястым полом пискнула мышь — бедняжка, что же ты грызёшь в пустом доме?

Митяй вздохнул. Растёр лицо, словно убирая прилипшую паутину. Прошёл в переднюю избу и остановился, прислонившись к дверному косяку. В углах лохмотьями свисали тенета. Повсюду лежал толстый слой пыли, на котором были видны цепочки мышинных следов. Там, возле окна, отсвечивая тусклыми спинками, виднелась кровать, а рядом высился комод, над ним — несколько фотографий в рамках. За печкой — открытый сундук. В нём мать хранила самые ценные вещи да бабкино платье как память. Интересно, где оно сейчас? Митяй прошёлся по широким скрипучим половицам, поднимая пыльные облачка, достал спички, чиркнул, и огонёк выхватил из темноты кучу всякого тряпья. Может, среди него и было платье, но искать Митяй не стал. Мать часто говорила, что бабка подарила его и сказала, чтобы в нём замуж выходила. Так и получилось. Мамка часто вспоминала, как с батей расписались в сельсовете, отгуляли свадьбу, и она убрала это платье. Хотела отдать дочке, если родится, но родился он, Митяй, или молодой снохе, но не дождалась. Столько лет промотался, а так и не женился. Изредка письма отправлял, и всё на этом. А потом батя умер, следом и мамку отвезли на погост. И остался один как перст. Ни братьев, ни сестёр, ни родни. Один. Опять протяжно вздохнув, Митяй остановился возле фотографий. Раньше не обращал внимания на них, а сейчас стоял и всматривался в родные черты родителей и своего деда. Прозрение пришло поздно. Ради

чего он промотался столько лет — не понимал. И родителей не смог проводить в последний путь, и семью не создал. Так, перекаати-поле, по-другому никак нельзя назвать. Теперь вернулся, а от деревни почти ничего не осталось. Опять уехать в город, откуда еле вырвался, или здесь оставаться, где одно старичье живёт? Митяй тоненько вздохнул, покачивая головой. Он не знал, что делать.

Осторожно прикрыв дверь, Митяй прошёл на крыльцо, прислонился к шатким перильцам, достал жестяную коробочку, газетку, сделал самокрутку и, задумавшись, закурил, выпуская едучее, густое облачко дыма. Он курил, внимательно осматривая запущенный двор, скособочившийся сарай, поваленную изгородь, крышу с огромными дырками, где видны были стропила. Поглядывал в сторону речки, где раньше была банька, и опять задумывался, потирая щетину на щеке да подёргивая себя за спутанные отросшие волосы. Да уж, хозяин вернулся, а теперь сидит возле разбитого корыта. А кто виноват? Конечно, сам! Головой нужно было думать, а не... Митяй опять тоненько, протяжно вздохнул и вздрогнул, когда рядышком раздалось громкое карканье.

— Кыш, зараза! — рявкнул Митяй, подхватил с земли деревяшку и, размахнувшись, запустил в ворону, сидевшую на заборе. — Кыш, кому сказал? Ишь, раскаркалась...

— Эй, кто там разорался? — неподалеку послышался грозный окрик, донеслись неторопливые грузные шаги, и возле разбитой калитки появился невысокий крепкий мужичок, помахивая штaketиной. — Что расселся, прохожий? Иди своей дорогой, иди! — и махнул рукой. — Нечего по чужим дворам шляться. Гляди у меня, ежели прогуляюсь штaketиной вдоль хребтины, как заяц помчишься. Ишь, пристроился, высматриваешь.

— Это наша изба, — не поднимая головы, пробурчал Митяй и ткнул пальцем за спину. — Приехал, вот сижу, осматриваюсь.

Постукивая штaketиной по земле, мужичок подошёл, почесывая небритую щеку, долго всматривался и недоверчиво покачал головой.

— Да ну, не может быть, — он махнул рукой и, прищурившись, опять взглянул. — Ну, не может быть! — повторил. — Митька, разве ты живой?

— А что со мной будет? — исподлобья взглянув, недовольно буркнул Митяй. — Привидение увидел? А я просто сижу и своё хозяйство осматриваю, — не удержался, съехидничал: — Ну, если посчитать, сколько раз за сегодня успели похоронить меня, тогда я, наверное, в Кошья Бессмертного превратился. Вот оно как, однако.

Мужичок затоптался, удивлённо покачивая головой, потом дотронулся до Митяя и хмыкнул.

— Взаправду живой, — и торопливо зачастил, прыгая с пятого на десятое. — Откуда взялся, шельма? Тебя же давно похоронили. Эть, а ты вот сидишь на крыльчке. Я же самолично могилку копал и тебя опускал. А сейчас передо мной сидишь да ещё разговариваешь. Эть, живой утопленник! Кому сказать, не поверят, — и, нет-нет, незаметно дотрагивался до Митяя и повторял: — А ты живой... А ты узнаёшь меня? Это же я, Димка Спириной! Забыл? Эх, тёпа-недотёпа! — и крепко шлёпнул по плечу. — Значит, приехал? Это хорошо. Я знал, что ты не пропадёшь. Ты с характером. Правда! Молодец, что вернулся. Здесь работы невпроворот! И нам веселее будет.

— Вот оно как, однако, — вскинув брови, сказал Митяй и, задумавшись, наморщил лоб. — Димка... — он пожал плечами. — Нет, не помню такого. Да, вернулся... Не знаю, пока не решил, останусь или уеду.

Мужичок чертыхнулся, потом хохотнул, отбросил штaketину, опять хлопнул Митяя по плечу, аж тот поморщился, и махнул, показывая.

— Эх, тёпа-недотёпа, — Димка опять засмеялся. — А помнишь, как с моей сестрой, Валькой, возле речки в кустах целовался, а я вас застукал и бате рассказал, а? А твой батька посреди двора разложил тебя через колено и ремнем отлупцевал, чтобы не женихался.

Да уж, это Митяй не забыл, как отец отлупил его ремнем, а возле забора стояли соседки и смеялись, глядя на его голую задницу. И впервые Митяй не кричал, а, стиснув зубы, лишь глухо стонал, потому что могла услышать Валька, его первая девчонка, с которой закрутили любовь в восьмом классе, ещё подростками. Лишь она не хотела признавать его хулиганом. Даже письма писала, когда его отправили в колонию. А он не отвечал, дурак.

Гордый! Постепенно письма перестали приходить, но Митька не забывал её, свою Валуху, и часто, когда на душе было тошнѣхонько, вспоминал её, вспоминал, как встречались тайком, как прятались от всех, как впервые...

— Эй, тёпа-недотѣпа, что молчишь-то? — Митяй очнулся от громкого окрика. — Слышь, я спрашиваю, ты навсегда приехал или как? — опять переспросил. — Ходишь вокруг да около и не отвечаешь.

Митяй помотал головой, растѣр ладонями лицо, шумно вздохнул и впервые за долгое время улыбнулся.

— А мне говорили, что в деревне старичѣе осталось и всё, — не отвечая на вопрос, медленно сказал Митяй, продолжая вспоминать Вальку. — А разве ты не уехал? А с кем живѣшь? — стал расспрашивать.

Подняв упавшую калитку, Димка осторожно приставил её к высокому фундаменту дома, отряхнул ладони, пригладил реденькие волосы и хмыкнул.

— Уезжал, но вернулся, а что в городе делать-то? — махнув рукой, усмехнулся он, а потом стал быстро рассказывать: — Когда колхоз развалился, все стали разъезжаться, я тоже подался за лёгкой жизнью. Думал, в городе будем жить как у Христа за пазухой. Ага... Кое-как удалось комнату в общежитии получить. Несколько лет промучились с женой и ребятами. Ни поспать, ни пожрать, ни... в общем, даже в туалет спокойно не сходишь, того и гляди, прямо с горшка скинут. Даже на кухне приходилось караулить свои кастрюли или сковородку. Только отвернёшься — уже своровали, заразы! В общем, надоела такая жизнь. Плюнули на всё, собрались и вернулись. Вот уже третий год здесь живѣм. Сначала трудновато было. Всё хозяйство развалилось. Магазин закрылся. Работа есть, но приходится за двадцать километров мотаться. Даже была мысль, чтобы опять в город рвануть или на севера податься на заработки, а потом посидели, посмотрели на деревенских стариков, подумали и всё же решили остаться. Как же они без нас проживут-то? Кто им лекарство из аптеки привезѣт? Некому же помочь. Пропадут, бедняжки! А к зиме должна ещё наша Валька вернуться. Тоже нажилась в горо-

де, тоже лёгкой жизни вдоволь хлебнула. Ни семьи, ни детей, одна как перст. Город и завод сломали её, всё здоровье сожрали и выплюнули, как и многих других. А мы уже домик сторговали для неё. Вот вернѣтся, всё веселее будет. И тебе обрадуется...

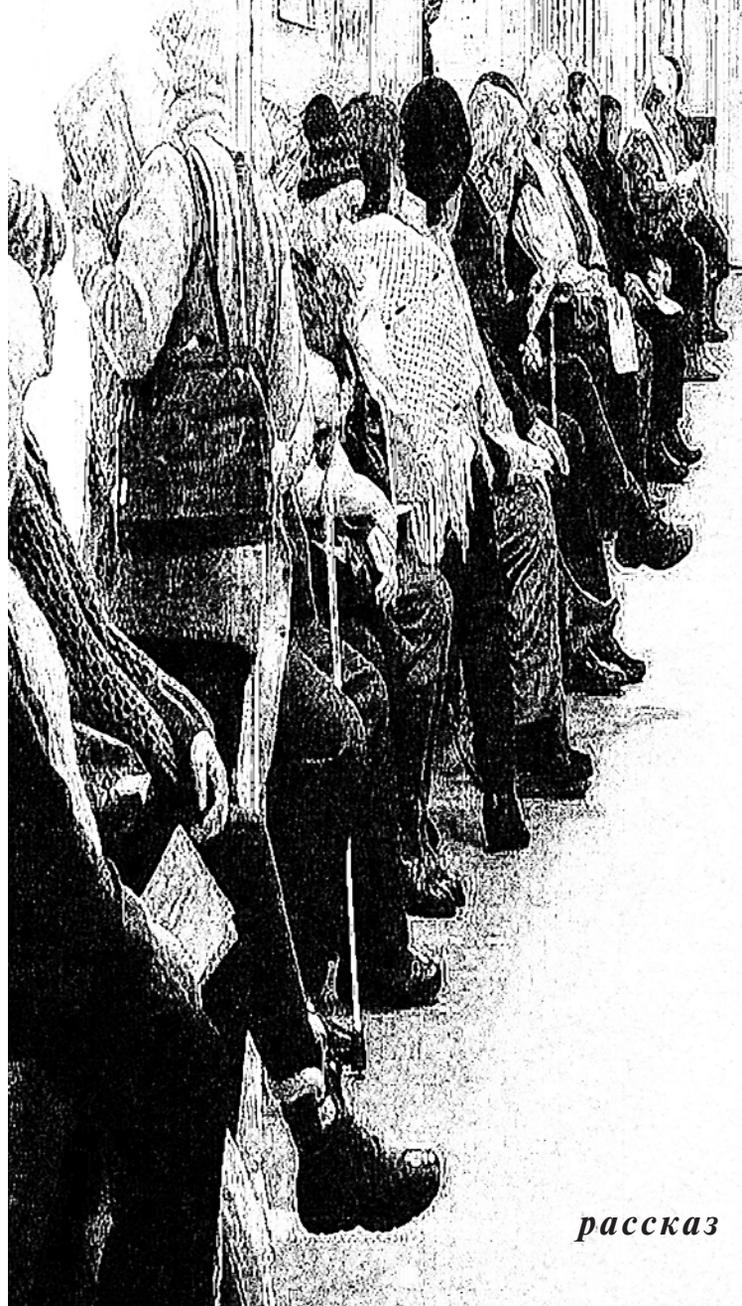
Попыхивая самокруткой, Митяй слушал вполуха, внимательно осматривал сарай, подпѣртый слагами, глядел на огород, заросший непроходимым бурьяном, на развалившуюся баню, на одинокий колодец с ржавым воротом, а раньше он был блестящий, отполированный руками деревенских жителей. Смотрел, то хмурился, то чему-то улыбался, переспрашивал Димку, надолго задумывался и снова доставал кисет, крутил самокрутки и скрывался за сизыми облаками вонючего дыма. Потом встрепенулся, хмурясь, посмотрел на мужичка, медленно поднялся и махнул рукой.

— Слышь, Димка, — Митяй взглянул исподлобья. — Я вижу, тебе нечем заняться, да? Стоишь, языком молотишь. Ну-ка, вали отсюда! Ишь, расселся, ещё одна Фенька-балаболка нашлась! Шляешься по дворам. Иди займись хозяйством, любопытный, — он растѣр лицо и неспешно стал подниматься по скрипучим ступеням. — Да, забыл... Слетай-ка к деду Евсею. Скажи, чтобы не ждали меня, я дома переночую. И ещё передай, пусть утром прихватит инструмент и придѣт сюда, он пообещал помочь. И ты подходи. Работа для всех найдѣтся. Вот оно как, однако, — и, нахмутив брови, степенно, так всегда ходил его отец, словно никуда не торопился, Митяй по-хозяйски направился к двери.

Наконец-то он вернулся домой.

Жизнь продолжается.

Больничные посиделки



рассказ

— Кто крайний? — осматриваясь в полутемном больничном коридоре, спросил парень, держась за поясницу, и, не дождав-шись, крикнул: — Эй, отзовитесь!

Все лавки заняты, народ толпился возле кабинетов, но самая плотная толпа была в середине коридора. От неё, словно щупальца осьминога или какого-то неведомого чудовища, тянулись очереди — отростки к кабинетам. И это чудовище шевелилось, толкалось, пиналось, из утробы доносились разговоры, стоны и смех, выкрики «Здесь не стояли», кого-то выдавливали изнутри, и он опять старался втиснуться туда.

— Эй, ну кто же крайний-то в пятнадцатый кабинет, а? — уже громче закричал парень. — Что молчите-то?

— Вот на улицу выйдешь, за угол завернёшь, а там какая-нить гоп-компания сделает тебя крайним, понял? — раздался из толпы грубый мужской голос. — А здесь говори — последний. Сразу видно, не шлялся по больницам. Ну ничего, всему научишься. Молодой, вся жизнь впереди.

Парень, видать с радикулитом, осторожно достал бумаги, долго рассматривал в полутёмном коридоре, потом взглянул на часы.

— Послушайте, а у кого талончик на десять утра? — опять крикнул он, стараясь, чтобы все услышали. — Эй, отзовитесь! Я за вами буду. У меня на десять двадцать, а кто за мной, откликнитесь, — и, кондыляя, рассекая щупальца очередей, стал протискиваться к дверям, опасаясь опоздать.

— Какой талон? — отовсюду вразной раздалились голоса, и парня принялись выталкивать из своих сплочённых рядов. — С ума сошёл, что ли? В туалет с ним сходи. А здесь живая очередь! Иди поспрашивай в толпе, кто последний. Вон какой-то хвост очереди виднеется. Может, твой...

— Но у меня же время назначено! — пытался показывать бумажки и возмущаться парень. — Почему я должен...

— Слышь, ты же не к девке на свидание торопишься, — опять разноголосо донеслось из толпы. — Скорость нужна при ловле блох, а здесь... В общем, вали отсюда, пока сами не вылечили. Все хотят попасть к врачу. Не ты

один такой хитрый. Уйди с глаз долой! — И вдруг какая-то женщина, перебивая всех, визгливо закричала: — Слышь, мужик в майке, там же кабинет гинеколога. Что подглядываешь в щёлку-то — живых баб не видел? Как — ну и что, что гинеколог? А ты же говорил, что к психиатру пришёл. А псих принимает в другом крыле, рядом с кабинетом охраны. Эй, иди отсюда и не дрыгайся словно припадочный, я ведь тоже нервная. Укусить могу...

— У меня же время, — уже почти шёпотом сказал парень и помахал бумажкой. — Мне назначено...

Уперев руки в бока, перед парнем с радикулитом встала толстая, не полная, а именно толстая бабища в ярком цветастом платье, с ярко-красными губищами на широком плоском лице, с несколькими подбородками и необъятной грудью — это парень успел заметить, когда она, нависая, растопырилась перед ним.

— Что разорался? Так недолго и оглохнуть! Никто не пройдёт в кабинет без очереди, — трубно забасила она. — Я уже с семи утра торчу в больнице, словно тополь на Плющихе. Никаких талонов, никаких справок, никаких «мне занимали» и всякой прочей ерунды, — она медленно поводила пальцем возле носа радикулитного. — Только живая очередь. Живая, и всё! — сказала как припечатала и, словно невзначай, как пушинку, оттолкнула его большим животом. — Вон все к врачам пришли. Здесь все больные, куда ни плюнь. А я такая хворая, такая, аж еле хожу! — хохотнула и смахнула слезинку толстым пальцем-сарделькой, на котором сверкнул огромный перстень с каким-то камнем.

— Да тебя ломом перепоясать — и даже не шелохнешься, — откуда-то раздался недовольный, язвительно-бубнящий голос. — Только и делаешь, что по больницам шляешься. Я уже давненько тебя заприметил. Дважды всех врачей обошла, на третий круг заходишь. Ха, больная! Живее всех живых, почти как дедушка Ленин!

В толпе засмеялись.

Яркая многоподбородочная женщина возмущённо фыркнула.

— А ты попробуй перепояшь, — рявкнула она, и толпа отшатнулась. — Я этот лом на твоей тоненькой шее узелком завяжу, понятно,

доходяга? Не мужики пошли, а так себе, одно название...

Из кабинета выскочила медсестра в коротком халатике с двумя расстёгнутыми пуговками сверху, так что была видна высокая грудь. Да уж, только ей и работать в этом кабинете, больных мужиков расстраивать. Она выскочила и погрозила тоненьким пальчиком.

— Успокойтесь, пациенты, — приподнявшись на цыпочки, тоненьким голосочком сказала она, — а то сейчас всех, кто кричит, мы не станем принимать. В следующий раз придёте.

— А кто это придумал? — в толпе заволновались, заворчали. — Мы, может, от боли ругаемся, а вы вот сидите в теплом кабинете и принимаете в час по чайной ложке, а остальное время разводите тары-бары.

— Кто это сказал, кто сказал? — медсестра приподнялась на цыпочки и принялась шарить взглядом по толпе. — Ну-ка покажитесь!

— Ага, размечталась, — кто-то громко засмеялся. — Я могу показать тебе, но не здесь, а в другом месте. Только гляди в обморок не упади.

Мужики в толпе расхохотались: громко, некоторые — язвительно, а другие — беззлобно. И женщины фыркнули, кто стоял поближе к двери, заметили, как польхнула румянцем медсестра и торопливо скрылась за дверью, пискляво крикнув напоследок:

— Кобели, охальники!

Опять по коридору прокатился хохот.

— Лучше нам покажи, чем медсестре, — раздался женский голос. — Они с врачами каждый день смотрят на разных мужиков, а потом на своих глаза бы не глядели, а мы только своих мужей видим, и всё. Нам ведь интересно, что там у чужого в...

— А вам нельзя, — перебивая, долетел прерывистый тонкий голосочек. — Вы и так больные, а если показать, сразу сознание потеряете, а потом отвечать придётся. Правда-правда!

— Ну, судя по голосу, обмороки нам не грозят, если взглянем на недомерка, — и снова долгий залиvistый смех. — Там, бабоньки, как мне кажется, не на что смотреть-то, одно название! — подвела итог женщина.

— Замолчите, охальники! — зашамкала старуха, сидевшая на скамейке, и принялась грозить клюшкой, которую держала в руке. — Вот я вам

дам! Постыдились бы, о таких непотребных делах болтаете. Срамники! Креста на вас нет...

— Есть крест, бабуль, есть, — похлопав по груди, сказала симпатичная девушка в обтягивающих джинсах, прозрачной кофточке и с цепочкой на шее. — Вот глянь, есть крест, а хороших мужиков не найти. Где бы взять, а? — и, тяжело вздохнув, сладко потянулась. — Подскажи, бабушка.

— Твоя правда, дочка, твоя, — закивала головой тётка, сидевшая рядом с бабушкой. — Который день прихожу домой, а мой мужик в стельку, лыка не вяжет. Зараза такая! И ведь из дома не выходит. Обувка сухая. И денег нет. Я все карманы проверила, все его потайные места просмотрела. Ничего нет. А он надирается, сволота! А давеча узнала, что это верхний сосед виноват. Да, он, зараза! Что придумали-то с моим мужиком... Мой взял и отдал соседу свою заначку. А на первом этаже магазин. Сосед договорился с продавщицей, и, чтобы не бегать туда, он спускает верёвку с пакетом и деньгами. Продавщица сунет бутылку — тот и тянет. Как до нашего балкона поднимет, моему обормоту свистит. А мой радуется. За водкой не нужно ходить. Распечатает пузырёк, опрокинет стаканчик и кричит соседу, чтобы поднимал. А за день-то сколько раз туда-сюда верёвку гоняет, и бутылки пустые сдаёт, и новые покупает. И водка, и вино, и пиво. Вот мой мужик, зараза, к вечеру уже на бровях. Ишь, до чего додумались, алкаши несчастные!

— И мой такой же, — махнув рукой, сказала тётка в чёрной юбке и фиолетовой кофте. — Не успеешь глазом моргнуть, как напьётся. И к врачам водила, и к бабкам возила, чтобы над ним пошептали, по кастрюле поступали и закодировали, а он всё равно жрёт и жрёт эту проклятую водку. Хоть на цепь сажай.

И женщины, сидевшие возле них, услышав про мужиков-алкашей, тоже стали изливать душу. Каждая вспоминала, какой он был хороший до свадьбы, а потом превратился в пьяницу. И что им не хватает, этим мужикам, никто не знает. Но все пришли к одному выводу, что мужчины — это такая скотина, такая сволота, что хуже их... И тут же принялись обсуждать, что мужья еще и бабники. Ну прямо ни одной юбки мимо себя не пропустят, ни от одной

смазливой рожницы не отвернутся. А при случае, если подвернётся, обязательно начинают лапать чужих баб. И как только таких земля держит! Сволочи, алкаши и ещё раз — бабники!

— А вот мой-то муженёк стал на соседку засматриваться, — пришепётывая, оглядываясь на женщин на скамейке, принялась рассказывать дородная баба — того и гляди грудь из декольте вывалится, ткнула пальцем: — Вон, вон, как та девка. Страсть как похожа! Ну-ка, ну-ка, а не она ли в больницу прибежала? — сказала подозрительно и, приподнявшись, но не отходя от скамьи, чтобы место не заняли, стала всматриваться в плотную толпу, вздохнула облегчённо. — Слава богу, не она! Но, видать, такая же вертихвостка, как и наша соседка. Наверное, тоже любит с чужими мужиками покрутить. Вон стоит, а сама глазками так и зыркает, так и зыркает, зараза! А, да... Вот и говорю, мой охламон стал заглядываться. Как увидит соседку — рот до ушей, хоть завязочки пришей. Идёт, скалится, грудь колесом, тоже мне — Илья Муромец нашёлся, а сам так и посматривает на неё, так и посматривает, того и гляди прямо в подъезде на соседку набросится. Глазами бы сожрал, да я рядышком. А потом весь день ходит и улыбается, видать, настроение хорошее, и намуркивает что-нить. Кот мартовский, кобелина! — и она погрозила кулаком.

— А много народу в пятнадцатый кабинет? — охая, держась за поясницу, спросил парень, который искал крайнего. — Сколько ещё ждать, а?

— А что, слепой, что ли? — опять появилась необъятная яркая женщина и ткнула толстым пальцем через головы. — Вон сколько, видишь, наша очередь загнулась вдоль окошка, ну, рядом с которым фикус раскудрявился... Что говоришь — не кудрявится? Ну, тогда разлохматился... Ай, ладно — растопырился! И вот вся очередь — это к нервному врачу. А сколько ждать... Пока не упадёшь или вперёд ногами не вынесут, — и громко хохотнула. — Иди отсюда, не мешай добрым людям разговаривать.

Парень скривился. Посмотрел на часы. Нахмурившись, кое-как развернулся и направился в дальний конец коридора.

— А вот мой ни-ни, — сказала яркая женщина и поводила пальцем перед собой. — В молодости попробовал гульнуть, так я живо ему хвост прищемила. А заодно и той зазнобе, на

кого глаз положил. Ей все волосёнки повыди- рала, а ему в нос как врезала, аж кровью умыл- ся, и синячище под глаз поставила, чтобы не засматривался. Теперь ходит, а нос поперек лица загнулся. Враз отучила!

— И что, до сих пор живёт с тобой? — прислу- шавшись к бабским пересудам, сказал мужик в белой футболке и старых джинсах. — И терпит?

— А куда он денется? — усмехнулась ярко- красными губищами баба. — Живёт и не пик- нет. Боится — значит, уважает!

— Нет уж, я бы давно сбежал от такой само- дурки, — оценивающе взглянув на её фигуру, сказал мужик. — Ну, а лучше её бы выгнал. Нет, друзья, это не жизнь — быть подкаблучником.

— Ну, пусть рискнёт выгнать, если не забоит- ся, — уперев руки в бока, пренебрежительно сказала бабища и скривила губы. — Всю жизнь на лекарства придётся работать. — У неё в сум- ке затрезвонил мобильник, она выхватила и за- ворковала, ну, как может ворковать басом не- обьятная женщина. — Что, милый, проснулся? Ещё валяешься... Ну понежся, понежся. А я все в больнице стою. Да уж, куда денешься, очередь огромная. Что говоришь? Селёдку? Конечно, дорогой, заскочу в рыбный магазин, куплю маринованную селёдочку, какую ты лю- бишь, а потом, когда вернусь, картошечку от- варю, солёненьких огурчиков достану. Что го- воришь — сто грамм? Конечно, налью рюмоч- ку. Какой же обед да без рюмашки-другой. Ну, пока-пока, солнышко...

В очереди рассмеялись.

— Ну-ка, что заржали, а? — яркая женщина смутилась, закрутила головой, потопталась, от- пихивая всех животом, а потом грозно нахму- рилась и принялась наводить порядок, рванув к двери: — Ишь, устроили митинг! Ну, что вы столпились, а? Отойдите от двери, отойдите! Живая очередь, никто вперёд не проскочит. Что говоришь? Только спросить? Ага, шас, раз- бежался! Все спросить, но врачи заняты, а я не справочное бюро. Иди отсюда, чахотка, пока взяшей не прогнала, иди! — и словно нечаянно кого-то оттолкнула.

— А кто последний к травматологу? — донёсся болезненный голос.

— Там спрашивай, в той стороне, — вразнойбой принялись отвечать больные. — Все, кто поздно

пришёл, они в середине крутятся. Там ищи свой хвост очереди. Какие талоны? С ума сошли! Мы с утра занимали, когда за окном темно было, и думаете, что пропустим? Ничего подобного! Только после нас, только через наши трупы.

— У меня же болит...

— У всех болит, — одновременно раздалось со всех сторон. — Все хворые. Здоровые сюда не ходят.

— У меня сильно ноет...

— А у неё не болит? — кто-то ткнул в спину яркой необьятной женщины. — Она вообще насквозь хвора. Вон, глянь, как её разнесло от болезни. А ты, худоба, лезешь со своими бо- лячками. Иди отсюда, не тревожь понапрас- ну людей.

— Ой, гляньте, а почему медсестра сразу троих привела? — сказал кто-то в толпе. — Вон они, возле двери стоят. Пришипились, сейчас в каби- нет прошмыгнут. Держите их, не пропускайте!

— А, эти, что ли... — многоподбородочная женщина взглянула и небрежно отмахнулась. — Это стационарные. На комиссию прислали. Не успеешь в палату попасть, как заставляют всех врачей пройти, все подписи собрать. Сей- час чиркнут в карточке, и они уйдут. Эй-эй, куда лезешь, а? Марш оттуда, пока за шиворот не выволокла! Ишь, вздумал без очереди прос- кочить. Не получится! Мимо меня даже мышь не проскочит.

— Парень, ты последний? Я буду за тобой, — опираясь на клюку, сказал мужичок. — Здесь всегда очередь. Я уже второй месяц хожу. Ни- как не вылечат. Всех врачей обошёл, даже к проктологу отправляли, сказали, что ноги от- туда растут. Что, сказали, у него? Да ничего! Поковырялись, посмотрели, пошушукались и к другому врачу отправили. А я ногу как таскал за собой, так и волоку. Слышь, а ты за кем? А, вон за той старухой в драных штанах? Как, она не бабка, а кто же? Это девка? Не может быть! Ох, до чего мода докатилась. С ума сойти! А я ещё подумал, что это бабка в драные джинсы нарядилась, стоит рвань-рванью, и со спины не поймёшь, кто перед тобой. Хе-х, девка ока- залась. Умора!

— Какая рвань, мужчинка? — взглянув на не- го высокомерно, недовольно фыркнула девка. — Эти штанцы столько стоят, что тебе нужно

полгода на них работать. Привыкли ширпотреб носить, а у меня всё фирменное, всё от ведущих модельеров...

— Ага, это сразу видно, — закивал мужик, поглядывая на неё. — У меня дочка в таких же шастает. Ну ни капельки не отличаются, а может, и пошикарнее твоих будут. И тоже от главного моделиера всей страны, как она сказала. Взяла ножницы и почекрыжила, а потом мало показалось, так ещё кучу ниток подёргала и теперь ходит по улице и сверкает голяшками. Вот придду домой, выкину к едрене фене! Нечего перед всеми голой задницей сверкать, — раскипятился мужик, а потом, вспомнив, опять пристал. — Слышь, девчонка, а ты за кем занимала? За тем толстяком? А он вон за той теткой, которая рыжая? Ну, не та, что в кофте, а без неё... Нет, не голая, о чём говоришь. Вон, которая столб подпирает — это она? Ага, ладно, схожу к ней, разузнаю, за кем она занимала, — и стал протискиваться к рыжей.

Дверь распахнулась. На пороге появилась медсестра. Толпа притихла. Некоторые приготовились первыми проскочить в кабинет и стали тихонечко продвигаться к двери, чтобы другие не заподозрили. Медсестра молчала. Очередь тоже помалкивала, наблюдая за ней. Медсестра неторопливо осмотрела всех, словно подсчитывала. Затем посмотрела в дальний конец коридора, где шевелились хвосты длинных очередей. Нахмурилась, сдвигая бровки к переносице. И вздохнула: тяжело, протяжно, умаявшись.

— Так, больные, — она замолчала на мгновение, и толпа замерла. — Мы делаем перерыв на двадцать минут.

В очереди раздалось недовольные голоса, возгласы, крики, иногда доносился мат: отрывочно и невнятно.

— Ну вот, тоже мне, придумали... Совсем обнаглели эти врачи... Мало того, что тяжелее ручки ничего не поднимают, так ещё отдых устраивают средь бела дня... Совсем совесть потеряли...

— Так, больные, тише, прошу вас, потише, — она повысила голос. — Мы тоже люди, и мы тоже хотим немного отдохнуть. Сейчас чаёк попьём, проветрим кабинет и снова начнём приём, — и скрылась, захлопнув дверь.

— Вот так всегда, — стали ворчать больные. — Вон какая очередина, а они вздумали чай пить. Ишь, устроили обед с тихим часом, переходящий в полдник. Здесь в три смены нужно пахать, чтобы всех принять. В кабинет зайдёшь — врач даже не смотрит, не пощупает, только спросит, на что жалуешься, и сразу же выписывает рецепты. А начнёшь просить, чтобы рентген сделали или ещё чего-нибудь, сразу в кошки-дыбошки и говорят, что здоров, и быстрее выписывают на работу. Не любят, когда критику наводят. А вот здесь, в ушном кабинете, раньше другой врач был, он болезни по книге искал. Ему говоришь, что болит, а он откроет здоровенную книгу и начинает листать, подбирая название. И лекарства так же выписывал. О, выучились в этих институтах! Я бы тоже так смог. Мне бы только эту книжку достать...

— И не говори, — поджимая покрашенные губы, сказала женщина, сидевшая на скамейке, и, увидев, что на неё смотрит мужчина, быстро одёрнула коротковатую юбку и, словно невзначай, провела ладошкой по волосам — прихорашивалась. — И не говори, — опять повторила она. — Вот моя знакомая, можно сказать, подруга, была в другой стране. И рассказывала, что там по одной капельке крови определяют все болезни, все диагнозы выставляют, а у нас назначат кучу анализов, пока всё сдашь, придешь, а тебе говорят, что они устарели, и опять новые направления выписывают. Вот сижу и думаю, а когда же болеть, если целыми днями в больнице торчишь. Туда сходи, сюда сходи, то принеси, это отнеси, там сдай, здесь возьми... А в соседний город направят в больницу к какому-нибудь специалисту, словно у нас нет, а там снова приходится сдавать анализы. А почему? Да потому, что их врачи не признают наши анализы. А нашенькие тоже не признают, хотя сами туда направляют. Наверное, так принято в нынешней медицине. Одним словом, бардак!

— Да-да, ещё какой бардак, — согласилась с ней соседка по скамейке, прижимая к себе хозяйственную сумку, из которой торчала голова мороженой рыбы, рядом — пук укропа и белела бутылка кефира. — На больничный уйдёшь, даже некогда отдохнуть. Так и крутишься, словно белка в колесе, то в больницу, то в магазины, то на кухне торчишь, чтобы своих оглоедов на-

кормить. Ни поболеешь, ни отдохнешь. Хоть на работу выписывайся...

— А мой знакомый, — вклинился в разговор мужик, стоявший рядом с ними, — он, как лето наступает, специально больничные берёт. Как для чего? Собирается и уматывает на неделю на рыбалку. Если рыба клюет, он быстренько в город вернётся, пакет рыбы притащит врачам, пошущукается с ними и опять на неделю уезжает. И так почти всё лето по рыбалкам колесит.

— Ох, хитрый! — покачивая головами, завистливо заговорили женщины. — Нам бы так. А мы-то, дуры, всё хлопочем и хлопочем по хозяйству. Нет чтобы взять и тоже куда-нибудь махнуть на недельку-другую.

— Говорите что хотите, бабоньки, а я бы ещё в больнице полежала, — шамкая, утирая впавший рот, сказала старуха в просторной длинной юбке, в тёплой кофте и с косынкой на голове. — Там хорошо, благодать! Утром поднимут, накормят, укольчики сделают, а если повезёт — на массаж сходишь и оттуда словно молодая возвращаешься. До обеда поваляешься, с товарками по палате посудачишь. А там уже из столовой кличут. И дают первое, второе, третье. Дома так не кушаешь, как в больнице. А потом тихий час. Хошь — спи, хошь — журналы листай, хошь — в окно смотри — никто не мешает. А потом можно погулять до ужина, если погода хорошая. Даже в магазин сбегать, что-нить к чаю взять. Поужинали, и снова до отбоя отдыхаешь. А мы с товарками каждый вечер чай пили. Всего поналожим на стол — глаза разбегаются. Дома в праздник такого не увидишь. Наедемся, чаю напьёмся, аж петь хочется, но нельзя — больница. И спать укладываемся, все простыни чистенькие, наволочки чистенькие. Почти как на перине спишь. Благодать! Вы, молодёжь, еще ничего не понимаете в жизни, не знаете, где будет лучше — дома или в больнице. А вот придёт время, тогда и вспомните мои слова...

— Что же очереди не двигаются? — скрючившись, держась за поясницу, снова подошел парень. — Стою, стою, а спина всё сильнее ноет. Силы нет терпеть. Может, не в ту очередь занял, а?

— А ты, сынок, в больницу просись, пусть положат, — зашамкала старуха и ткнула скрюченным пальцем. — Эть как тебя загнуло-то —

страсть! Молодой, а уже болезный. Что говоришь? На работе надорвался? Бывает, хиленький ещё... А ты просись в палату. Там отлежишься, отоспишься, отъешься, а то вон какой тощий-то, кожа да кости. А там хорошо, — и она причмокнула. — Я вот опять пришла, может, определят в палату.

— А, ну да, ну да, там хорошо, — сказал мужик и подтолкнул соседа, с которым разговаривал. — Слышь, Петро, помнишь, в нашей палате был дед Никита? Ну, такой невысокий, крепкий старик. Глуховатый...

— Да, помню, а что? — закивал сосед и пошлёпал по голове. — Вот с такой здоровенной лысиной. Его кровать была возле окна, да?

Мужик расхохотался, поглядывая на своего соседа, на окружающих, а потом не выдержал.

— Бабоньки, вы уж извиняйте меня, о чём буду говорить, — он стал громко рассказывать и, нет-нет, снова закатывался, о чём-то вспоминая. — Тебя выписали, а я же остался. Ты знаешь, ведь деду Никите запретили курить. Всю жизнь смолил, а здесь запретили. Он принялся жрать все подряд. Родственники придут, бабка или дочки принесут, он ест и ест. Ночью проснусь, слышу, чавкает. Округлился. Рожа гладкая. А самое интересное — стал на баб засматриваться. Ага, в том-то и дело, что старик, а сам ни одну юбку мимо не пропускал. Наглый — ужас! То ущипнёт, то будто случайно за грудь цапнет и рожу скорчит, словно ненароком получилось. И чем ближе к выписке, тем чаще принялся к бабам приставать. Проходу не давал. Вот уж старик! Ладно, курс лечения прошел, его отпустили домой. Всё, здоров как бык племенной. Он, не дожидаясь дочки, бегом помчался домой. А вечером в нашу палату заходит знакомая медсестра, пальцем потыкала в кровать, где дед лежал, уселась и закатилась. Мы не поймём, что случилось. Она опять пальцем тычет, то в кровать, то куда-то за спину и хохочет. Думали, опять деда привезли. А тут...

Все, кто был рядом, прислушались.

А мужик, вспоминая, продолжал хохотать.

— В общем, когда она просмеялась, нам говорит, что наш дедушка Никита всех мужиков за пояс заткнул. Как? Да очень просто! Он примчался домой. Сначала наелся, а потом стал к бабке приставать. Что-что... Супружеский долг

исполнять. Ну и того, в общем, с ней стало плохо, когда исполнил, — и опять засмеялся.

Все сидели и ждали.

— Бабка лежит на кровати, помирает, давление запрыгало, сердце стало отказывать. Дед перепугался. Скорую вызвал. Врач приезжает, стал расспрашивать, что произошло. А старуха лежит на кровати и тычет в деда пальцем, матюкает его. Столько лет бревном лежал рядышком с ней, а сейчас к бабам потянуло. Супружеский долг решил исполнить за все годы простоя. Врач хохочет, медсестры тоже. Давление скачет, с сердцем плохо. Что делать? Надо в больницу забирать бабушку. И увезли. И в больнице рассказали, что произошло. Вся больница ходуном ходила, когда узнали, как дед Никита бабушку ублажал.

И по коридору прокатился громкий смех. У некоторых была истерика. Смеялись все: мужики, женщины, девчонки, старики и старухи, а врачи, кто выходил и спрашивал, что произошло, закатывались вслед за больными и торопливо скрывались в кабинетах, срочно объявляя перерывы на отдых, потому что многие знали деда Никиту.

— А вы с чем пожаловали? — посмеявшись, задала обычный больничный вопрос невысокая худенькая женщина, кутаясь в шаль, хоть на улице было жарковато, и поглядывая на старушку, что сидела на соседней скамье. — Наверное, суставчики ломит, да? Старость не радость...

— Нет, голова болит, — вытирая уголки рта, зашепелявила старуха. — Утром как кирпич, кое-как поднимаюсь. Днём чуточку расхожусь, а к вечеру опять болит, аж стреляет. И таблетки пила, и мазями мазала — ничего не помогает. Вот пришла в больницу, а меня к хирургу направила девчущка. Наверное, что-нить отрежут, — и махнула рукой. — Да пушай режут, лишь бы болеть перестало.

— А я хорошее средство знаю, — сказал шустренький юркий мужичок и подтолкнул парня, что был впереди него. — Мне ещё дед рассказывал. С той поры пользуюсь. Вылечил головенку. Тоже мучился, особенно по утрам. А сейчас ничего...

— Да не тяни ты резину, говори уж, — не удержалась, принялась поторапливать старуха,

встрепенувшись, когда услышала про новое средство. — Ну, говори, не томи душеньку. Может, я и ждать-то не стану врача. Сама вылечусь.

— Вылечишься, бабка, всю хворобу вылечишь, — хохотнул мужичок и опять толкнул парня.

— Слышь, весь бок ишириал, — забубнил парень, стараясь отодвинуться в плотной толпе.

— Замучил. Крутится как червяк.

— Потерпи, сынок, потерпи, — замахала руками старуха. — А ты говори, лекарь, что вертишься как вошь на гребешке.

— И вот я и говорю, — мужичок ослабилась, посверкивая вставными металлическими зубами, — что всю свою сознательную жизнь пользуюсь дедовским советом. Любую хворобу могу вылечить. Ладно-ладно, слушайте... В общем, в стакан спирта добавляете три капли воды... — и опять замолчал.

— Ну-ну, — нетерпеливо занукала старуха, и женщины, сидевшие рядом, тоже прислушались. — Ну, что дальше-то?

— А дальше... — мужичок выдержал паузу, поглядывая на них. — А дальше берёте этот стакан, неторопливо выпиваете и закусываете огурчиком. И так три раза в день по стакану спирта с тремя каплями воды. Через неделю любая хвороба вылечивается, — и засмеялся. — Испытанное средство, проверенное.

— Тьфу ты! Эть, ну и обормот, — всплеснула руками старуха. — Я уж думала, что пугёвое по совету, а он водку жрать. Уйди долой с глаз моих, злыдень! — и намахнулась. — Вылечил, называется. Болтун!

— Ага, и мы уши развесили, — засмеялись женщины. — А он придумал лекарство от всех болезней. Слышь, лекарь, а зачем в больницу пожаловал, если у тебя такое средство имеется, а?

— Имелось, — опять ощерился мужичок. — А вот закончилось, и я разболелся. Что у меня? А это, как его... Во, вспомнил, кажись... Трындит подколенного кулёчка со всеми вытекающими отсюда последствиями. Фу, еле выговорил! Что такое? А я почём знаю, но врачиха сказала, если не буду лечить, мне ногу отрежут по самые уши. Ай, ничего, у меня ещё вторая нога есть. На ней попрыгаю, — и опять засмеялся. — Видать, от недопивания.

— Ну, дурной, — махнула рукой старуха. — Другой бы расстраивался, а этот шерится. Весело ему. Тьфу-тьфу-тьфу на тебя! — и плюнула в плотную толпу.

Медленно распахнулась дверь. Из кабинета вышла молоденькая медсестра. Поправила на голове белоснежный колпак.словно невзначай проверила пуговики на халате. Мужики завздохали. Остальные молчали, внимательно наблюдая за каждым движением. Медсестричка медленно провела языком по губам. Погрозила пальчиком, когда парень подмигнул и мотнул башкой, словно куда-то приглашая. Окинула взглядом толпу и нахмурила бровки.

— Так, больные, продолжаем приём. Заходить по одному. Обувь оставляйте возле порога, — и скрылась в кабинете.

Толпа ожила. Заволновалась. Ходуном заходила. Кто-то искал очередь и втирался в неё, пробираясь к дверям, а других выжимали, выдвигали. Каждый норвил побыстрее попасть к врачу.

— Ну ладно, вы ждите свои очереди, а я пошла домой, — сказала маленькая старушонка и поднялась, поправляя кофту. — Вдоволь насиделась, наболталась, пора и честь знать. Пойду пообедаю.

— Бабка, а как же приём? — кто-то сказал. — Столько просидела и уходишь.

— Эх, сыночек, да я не на приём приходила, —

подвязывая платок, сказала старушка, — а с людьми пообщаться. Живу через дорогу. Скучно одной. Вот и повадилась сюда. Где побольше народу, там и присаживаюсь. Столько всяких историй наслушаешься за день — страсть. Вот и завтра приду. Посажу. Может, кто-нибудь из вас будет в очереди. Это уже старый знакомый. И опять буду слушать, и снова с кем-нибудь поболтаю. Новый день, новые люди и истории. Посажу в коридоре, поговорю, познакомлюсь и словно на посиделках побывала. Это же хорошо, сынок! Здесь не только лечат. Больница сближает людей. Правда! На улице вы бы мимо прошли и не заметили друг друга. А здесь собрались, сидите и разговариваете, словно сто лет знакомы. Где ещё можно столько услышать да своё рассказать? В больнице, как ни странно. Это, ребятки, наша жизнь. Ну ладно, я пошла.

И старушка неторопливо направилась к выходу, чтобы на следующий день опять прийти и занять очередь к врачу. К любому.

В больнице не только лечат, она сближает людей.

□

Михаил Иванович СМЕРНОВ

родился в 1958 году.

Автор книг «Поиски графских сокровищ»,

«Тайна старого подземелья», «По следам Ворона», «Неразлучники» и др.

Печатался в российских и зарубежных периодических изданиях.

Отмечен литературными премиями,

в числе которых премия «Филантроп»,

Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» и др.

Лауреат Международного конкурса детской и юношеской

художественной и научно-популярной литературы

им. А.Н. Толстого.

Живёт в Салавате.

В журнале «Север» публикуется впервые.

